

Глава первая.

«Воспоминания о детстве, или Скрытая жизнь»

Если бродить по одному из центральных районов Москвы – Хамовникам, который сегодня относится к самым дорогостоящим в столице, то между двумя старинными улицами, Пречистенкой и Остоженкой, можно наткнуться на переулок, который когда-то назывался Штатным. Ветеранам и историкам оппозиционных движений в Советском Союзе он известен тем, что здесь располагается печально известный Институт судебной психиатрии имени В. П. Сербского. Через его палаты суждено было пройти немало числу противников режима, чье инакомыслие было в годы застоя сочтено за проявление психического заболевания. Нередко здоровые и полные силы люди, пройдя «лечение» в этих серых стенах, выходили из них изможденными, больными и действительно сведенными с ума...

Но не это привлекло в переулок 1 мая 1990 года пеструю группку из примерно ста молодых московских анархистов. Они прошли к ограде, за которой в глубине двора стоит здание под № 26 – красивый, выстроенный в стиле классицизма деревянный особняк начала XIX столетия. Украшенный нарядным портиком с шестью белыми колоннами и покрытый окрашенной в желтый цвет штукатуркой, он двенадцатью большими окнами выходит в переулок. Встав перед металлической оградой, юноши и девушки скандировали: «Верните дом, верните дом!»

В здании с 1972 года размещается дипломатическая миссия, которая именовалась вначале представительством Организации освобождения Палестины, а позднее – посольством Государства Палестина. Что же понадобилось московским анархистам от дипломатов провозглашенного, но так и не созданного пока государства? На каком основании они требовали вернуть им этот старый дом?

Секрет открывался просто: именно в этом доме 27 ноября 1842 года (по принятому до Великой Российской революции «старому стилю») появился на свет, вероятно, самый известный во всем мире анархист – Петр Алексеевич Кропоткин.

Род, к которому ему суждено было принадлежать, мог считать себя одним из самых знатных в России. Строго говоря, в этом отношении он опережал правящую династию империи. Кропоткины, или, как иногда говорили и писали, Крапоткины, являлись потомками полупоэтического варяжского вождя Рюрика, который, если верить древним летописям, в 862 году заложил основы Древнерусского государства. Рюриковичем был и последний

великий князь Смоленский, Юрий Святославич, управлявший своими владениями до их аннексии Великим княжеством Литовским в 1404 году. Род Кропоткиных восходил к его племяннику – князю Дмитрию Васильевичу, получившему прозвище «Крапотка» («Кропотка»)[19]. Позднее соратники-революционеры в шутку говорили Петру Алексеевичу, что, как последний прямой потомок Рюриковичей, он имеет больше прав на российский престол, чем правящая династия Романовых[20].

Отец Петра Кропоткина, князь Алексей Петрович (1805–1871), был состоятельным помещиком и имел чин генерал-майора. За участие в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов он был награжден орденом Св. Анны и золотой шпагой. Затем он участвовал в подавлении Польского восстания 1830–1831 годов. Алексей Петрович владел именьями в трех губерниях Российской империи, где проживали тысяча двести душ крепостных мужиков с семьями. Мать Петра, Екатерина Николаевна, женщина удивительной красоты и грации, была дочерью генерала Николая Семеновича Сулимы, прославившегося в Отечественной войне 1812 года. Затем он занимал должности генерал-губернатора Восточной (1833–1834) и Западной Сибири (1834–1836). Именно Екатерине Николаевне и принадлежал дом на Штатном. Ее далекий предок, гетман Запорожского войска Иван Михайлович Сулима, был поистине легендарной личностью. Герой казачьих походов против Турции, во время которых казаки освободили многих соотечественников, плененных крымским ханом во время набегов и проданных в рабство, он сам пережил нелегкую судьбу раба. Попав в плен к туркам, долгие годы Иван Сулима провел, прикованный к веслу на галере. Во время одной из турецко-венецианских войн Сулима поднял восстание рабов. Они перебили своих поработителей, захватили корабль и причалили к итальянским берегам. За этот подвиг Иван получил награду от римского папы. В 1634 году, вернувшись из очередного похода на Крымское ханство, гетман Сулима поднял восстание против польской короны. Во главе отряда запорожских казаков он взял штурмом польскую крепость Кодак (Койдак), построенную с целью блокады Запорожской Сечи. Вскоре борца за вольности казачества вероломно схватили предатели из казачьей старшины и выдали королю. 12 декабря 1635 года он был казнен в Варшаве.

Русские князья... украинские казаки... Кто вы, Петр Алексеевич? Русский или украинец? «Я – скиф»... Так нередко он говорил о своем происхождении[21]... Это подтверждает анархист Николай Константинович Лебедев, близкий знакомый Кропоткина и один из первых его биографов[22]. Скифы – древний ираноязычный народ кочевников, в VIII веке до н. э. – IV веке н. э. населявший Северное Причерноморье и создавший Скифское царство в Крыму. Скифы были героями не только исследований историков, но также литературных и философских произведений русских писателей.

Скифом писатель и журналист Роман Борисович Гуль назовет другого великого анархиста – Михаила Александровича Бакунина. В годы Великой Российской революции возникло даже особое литературное течение – скифство. Его приверженцы выражали безграничный духовный максимализм и революционную непримиримость. Александр Александрович Блок, вдохновленный этими идеями, писал:

█

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами![23]

Да, скиф! Пожалуй... Ведь такое определение, пусть даже и в шутку, свидетельствовало о настоящем интернационализме Кропоткина, о его нежелании замыкаться в узких рамках-границах всех существующих народов, наций и государств! Но пока ничего не предвещало, что из сливок высокомерной аристократии вырастет убежденный и страстный революционер, поборник человеческого равенства.

* * *

В здании в Штатном переулке (сегодня он носит имя Кропоткинского) мальчику было суждено прожить недолго. Когда Петру было три с половиной года, его мать умерла, и отец, борясь с печальными воспоминаниями, продал дом. Семья Кропоткиных переехала в новый особняк, в Денежном переулке, который вскоре был переименован в Малый Левшинский. Здесь Кропоткины прожили до середины 1850-х годов. В этом же доме проходит детство Пети Кропоткина. Теперь на этом месте стоит многоэтажный дом. Еще одну из зим семья прожила в одноэтажном доме с мезонином, расположенном в Гагаринском переулке. По иронии судьбы именно в этом здании прошло первое собрание московского кружка «чайковцев» – революционной организации, одним из лидеров которой станет и Петр Кропоткин[24]. Так будущее оставило след в жизни маленького Петра... Метаистория, как сказал бы один наш друг... Совпадение, скажет скептик... И оба окажутся правы по-своему. Затем, в середине 1850-х годов, в пору юности Кропоткина, его семья поселилась в доме № 8 по Малому Власьевскому переулку[25]. К несчастью, до наших времен дом не уцелел. Зато в конце XIX столетия на его месте архитектор Фома Осипович Богданович-Дворжецкий отстроил собственный особняк.

Дом же в Штатном переулке еще несколько раз менял хозяев. Уже после смерти Петра Алексеевича в 1923 году в нем был открыт музей Кропоткина; средства на него собирали анархисты по всему миру. Вокруг музея группировались немногие анархисты, еще уцелевшие в ходе нараставших большевистских репрессий. В 1939 году музей был закрыт. Под занавес «перестройки» анархисты потребовали историческое здание обратно. В нем можно было возродить музей Кропоткина и создать культурно-агитационный центр возрождавшегося движения.

Как и следовало ожидать, дом не был передан анархистам. Позднее анархистских активистов даже приняли в здании посольства палестинские дипломаты. Те угощали визитеров крепким чаем из маленьких стаканчиков, как это принято на Ближнем Востоке, и убеждали пришедших в том, что они знают, кем был Петр Кропоткин, и уважают его. Так это или нет – в любом случае человеку, который вырос из мальчика, родившегося в особняке на Штатном, вряд ли понравилось бы, что его бывший дом сегодня принадлежит государству – пусть даже иностранному и не вполне существующему. Ведь он отдал борьбе с Государством, учреждением, которое философ Фридрих Ницше назвал когда-то «самым

холодным из всех холодных чудовищ», всю свою сознательную жизнь.

Все люди, утверждал знаменитый психолог Зигмунд Фрейд, родом из детства. Отношения в семье, атмосфера родительского дома, первые контакты с окружающими взрослыми и другими детьми не определяют дальнейшей судьбы ребенка, но чаще всего накладывают неизгладимый отпечаток на его характер, склонности и интересы. Неудивительно, что смерть матери в апреле 1846 года от туберкулеза стала одним из первых воспоминаний, которые Петр Кропоткин сохранил на всю жизнь. В написанных через полвека мемуарах, «Записках революционера», – авторы еще неоднократно будут ссылаться на эту книгу, откуда можно почерпнуть уникальные сведения о детстве будущего анархиста, – можно почувствовать ту нежность, глубокую любовь и настоящее восхищение, которое испытывал Петр к матери. Он навсегда сохранил в памяти «ее бледное, исхудалое лицо. Ее большие темные глаза. Она смотрит на нас и ласково, любовно приглашает нас сесть, предлагает забраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять... Нас уводят»[26]. Впоследствии один из его друзей вспоминал, что, несмотря на все невзгоды, в эмиграции Петр сохранил портрет матери, который висел на стене его квартиры[27].

Мать умерла слишком рано для того, чтобы оказать на Кропоткина какое-либо интеллектуальное влияние. К тому времени у нее было уже четверо детей: одиннадцатилетний Николай (1834 – после 1862), десятилетняя Елена (1835–1904), пятилетний Александр (1841–1886) и трехлетний Петр. Лишь много позже сын узнал, что она была человеком художественно одаренным, тонко чувствующим и не чуждым прогрессивным интересам, хранившим, к примеру, копии запрещенных сочинений Рыльева, Ламартина и Байрона[28]. Кое-что из этого настроения ему самому предстояло унаследовать. Но все это будет потом. А пока мальчик ощущал одно: его умершую маму все любили за доброту и понимание. Те, кто работал в доме Кропоткиных, боготворили ее память и во многом ради нее привечали детей. Немка-гувернантка мадам Бурман, по словам Петра Алексеевича, заменила мать ему и его брату Александру и воспитала их. А крестьянки из поместий Кропоткиных не раз говорили сиротам-братьям: «Вырастете ли вы такими добрыми, какой была ваша мать? Она нас жалела, а вы будете жалеть?»[29] Конечно, вряд ли стоит объяснять то, что Петр выбрал стезю революционера только этим взаимным притяжением между ним, еще маленьким сыном знатного князя, и бесправными, забитыми и угнетенными людьми народа. Но какое-то первоначальное зерно, вероятно, уже тогда запало в его душу...

* * *

Когда читаешь комментарии российских интернет-активистов об американском движении Black lives matter, часто сталкиваешься с примитивным противопоставлением «белый – черный» как синонимом понятий «угнетенный – угнетатель». Невольно возникает впечатление полной амнезии исторической памяти. Разные они – что «белые», что «черные». Возможно, кому-то просто приятно осознавать себя «господином», пусть даже кающимся, чем угнетенным, которому каяться-то и не в чем... Ведь и в России было рабство, когда многонациональное крепостное крестьянство (русские, украинцы, белорусы, латыши,

литовцы, эстонцы, мордва, марийцы, чувашаи, татары) таким же образом угнеталось столь же многонациональным слоем дворян-рабовладельцев, среди которых были русские, поляки, украинцы, немцы, литовцы, грузины, армяне и даже афророссияне – предки уважаемого и любимого нами Александра Сергеевича Пушкина. Так что белый русский крестьянин – родной брат американского «дяди Тома», в отличие от афророссиян Ганнибалов, получивших дворянство и землю с рабами от Петра Первого.

Крепостное право... Рабство, веками отравлявшее жизнь десяткам миллионов наших предков. Вполне сравнимое по масштабам с рабством в Северо-Американских Соединенных Штатах и не так уж сильно отличавшееся от него... Перед отменой крепостного права в Российской империи насчитывалось двадцать три миллиона сто тысяч крепостных крестьян – 37 % от всего населения империи. Они составляли от 50 до 70 % населения в центральных губерниях России, в Белоруссии, Литве, Украине. В нечерноземных губерниях две трети населения были крепостными, в черноземной полосе – около половины всех крестьян, в Среднем Поволжье – треть. Их называли «крещеная собственность». Этим людей можно было не только передавать по наследству, но и продавать, дарить, закладывать, как имущество, в банке, подвергать любым наказаниям (правда, «без увечья»), лишать имущества по желанию помещика. Их проигрывали в карты. На ярмарках, аукционах, базарах распродавали за долги, как и все помещичье имущество. Так, одним из всероссийских центров торговли крепостными рабынями было село, ныне город, Иваново. Сюда их свозили со всей Российской империи, но наибольшим спросом на этой ярмарке пользовались украинки...

Стремясь «оптимизировать» свое хозяйство, помещик частенько по своему произволу подбирал невест для крестьянских парней. Мог перевести детей из одной семьи в другую, но мог и запретить замужество искусной ремесленнице, работавшей в его усадьбе. Объявления о продаже крепостных рабов печатали в газетах. Через запятую можно было увидеть рекламное описание рояля, собаки и рабыни-крестьянки с указанием ее возраста, а также всех прелестей и талантов. Правда, император Александр I запретил объявления о продаже людей. А еще раньше Екатерина II запретила использовать в официальных документах слово «раб». Слишком уж это портило имидж просвещенным реформаторам. Но запреты не страшны – слишком много было формулировок, позволяющих выразить то же самое другими словами...

Явления, которые сейчас называют словом «харассмент», процветали в имениях российских помещиков пышным цветом. Местные органы власти в губерниях неоднократно фиксировали многочисленные изнасилования крепостных девушек и крестьянских жен помещиками. Применялось «право первой ночи». Известны случаи создания дворянами целых гаремов из таких «любовниц поневоле»[30]. В 1845–1857 годах широкую огласку получил судебный процесс помещика Страшинского, уличенного в педофилии. «Благородный дворянин» принуждал к половым отношениям девочек двенадцати – четырнадцати лет; две из них умерли. А некоторые помещики и даже помещицы пытались зарабатывать деньги, принуждая девушек отрабатывать оброк в публичных домах...[31]

В регионах с более плодородными землями, «черноземами», крестьяне большую часть недели должны были отрабатывать барщину, что означало работу в хозяйстве помещика. В

наиболее «страдные», удобные для работы времена года барщина могла продолжаться до пяти-шести дней в неделю. Император Павел I попытался сократить число барщинных дней до трех в неделю, но его указ откровенно игнорировали, трактуя как «рекомендательный». В первой половине XIX века среди помещиков начинает распространяться практика перевода крестьян на «месячину». Иными словами, лишенные земли крепостные вынуждены были все рабочее время проводить на земле помещика, превращаясь в обычных плантационных рабов. За это им полагался паек продовольствием, одеждой, обувью и домашней утварью[32].

В «нечерноземных» губерниях, где земли были менее плодородны, а крестьяне зарабатывали кустарно-ремесленным производством или уходили на заработки в город, помещик, подобно пушкинскому Евгению Онегину, заменял «ярем» «барщины старинной оброком легким». Как правило... Правда, если он владел заводом, то мог заставить работать на нем крестьян по правилам той же «месячины».

Ну, легким оброк, как правило, не был. А если крепостной крестьянин занимался коммерцией, то и платил он больше – ведь надо же было барину жить в роскоши, закатывать балы и пиры, швыряться направо и налево деньгами в Париже, дабы содержать любовниц-француженок. О степени же «эффективности» помещичьего хозяйства свидетельствует один только факт: к 1859 году 65 % всех крепостных крестьян были заложены за долги помещиков в кредитных учреждениях.

Ну а если крестьянин, по мнению помещика, работал плохо, его могли сдать вне очереди в рекруты. А это означало двадцать пять лет военной службы и возвращение домой почти что стариком. Но и сама работа на барщине нередко сопровождалась применением пыток. Так, некоторые помещики, направляя крестьян на работу, надевали им на шею рогатки, чтобы они не могли прилечь для отдыха. Рогаткой тогда называли железный ошейник весом от двух до восьми килограммов с торчащими в стороны железными прутьями. Его запирали на замок. Уснуть с рогаткой было невозможно – прутья оставляли кровавые раны на шее и плечах. Бывали случаи, когда помещики, пытаясь принудить крестьян как можно быстрее закончить работу на господском поле, запрещали им пить воду, несмотря на жару. За малейший проступок крестьян подвергали беспощадной порке. Причем бить могли чем угодно: кнутом, плетью, розгами, арапником, палками, шпицрутенами[33].

Но были наказания еще более жуткие, чем порка. Так, Польские, помещики из Рязанской губернии, наказали одну из крепостных девушек, приковав ее цепью к деревянной колоде, весившей около четырнадцати килограммов. В таком положении она просидела четыре недели, вынужденная пряхать нити и питаться только хлебом и водой. Дворяне Рязанской губернии придумали и новое орудие пыток – деревянную «щекобитку». Херсонский помещик Карпов четыре года держал своих крестьян прикованными на цепи. Минская помещица Стоцкая использовала для пыток своих крепостных кипяток, раскаленное железо, кормление дохлыми пиявками. Она же надевала на лицо крепостным женщинам специальную узду под предлогом того, чтобы они не могли пить молоко во время доения коров[34].

Обычным явлением считалась пытка голодом. Так, рязанская помещица Скобелкина наказала свою дворовую девушку за внебрачную сексуальную связь лишением еды на десять суток[35]. Сюда же можно добавить и еще ряд особо «изысканных» методов пыток: подвешивание за ноги и руки на шесте, «уточка» (связывание рук и ног, а потом их продевание на шест), опаливание лучиной волос у женщин «около естества», «ставление на горячую сковороду», «набивание деревянных колодок на шею», сечение «солеными розгами» и «натирание солью» по сеченым местам...[36]

Убийство крепостных тоже было довольно распространенным явлением. Историк Повалишин, изучавший жизнь крепостных крестьян Рязанской губернии 1810–1850-х годов, приводит такие случаи. Помещик Хомуцкий избил до смерти одну из дворовых девушек. Другой местный дворянин, Суханов, тяжело избил прикладом ружья и ногами двенадцатилетнего дворового мальчика за то, что на охоте он не заметил зайца. Через два дня ребенок умер. В 1844 году помещик Одинцов жестоко избил за потерю цыпленка семилетнюю девочку. Через несколько дней она умерла[37]. Детей, беременных женщин, стариков калечили и забивали насмерть... И таких случаев Повалишин приводит довольно много. А что же помещики? Чаще всего наказанием для них было предание церковному покаянию. В лучшем случае имение могло быть забрано в опеку местного дворянства. Но обычно какое-либо наказание следовало в случае вмешательства высокопоставленных чиновников, а то и членов императорской семьи, порой приходивших в ужас от того, что помещики вытворяли с живыми людьми. Помещики, обладавшие деньгами и властью над своими крепостными, имели шансы подкупить чиновников, задобрить или запугать свидетелей из своих крепостных, а то и вовсе отправить их в тюрьму. Даже насильник-педофил Страшинский, несмотря на «подтверждение этих фактов его крепостными трех деревень различных уездов, соседними крестьянами, самими потерпевшими и медицинским освидетельствованием», отделался легким испугом. Сенат, высший судебный орган империи, оставил его дело только «в подозрении»...[38]

Одной из наиболее одиозных личностей, соединившей все негативные черты помещика того времени, был князь Гагарин, владевший землям в Михайловском уезде Рязанской губернии. Занимая крестьян даже по праздникам работой на барском поле, он почти не оставлял им времени трудиться на своей земле. Частые избиения крестьян арапником, плетью, кнутом или палкой были для него обычным делом. Гагарин изнасиловал и принудил к роли своих гаремных наложниц семь крепостных девушек. Держал их взаперти и часто избивал из чувства ревности. В 1816 году ухаживавший за щенятами крепостной крестьянин Михаил Андреев, недоглядевший за щенком, был избит пьяным Гагариным, а затем в раздетом виде посажен на цепь на морозе. При этом конюхи по приказу князя все время избивали слугу арапниками. Затем Гагарин продолжил избиение, окончившееся убийством Андреева[39]. А ведь Гагарины были родственниками Кропоткиных. Знал ли юный Петр эту историю?

Крестьяне фактически были лишены даже права жаловаться на своих помещиков. В 1767 году императрица Екатерина II ввела за любые подобные жалобы битье кнутом и отправку на каторжные работы[40]. Согласно «Уложению о наказаниях» 1845 года (пункт 1909) за любую подачу жалобы на помещика полагалось пятьдесят ударов розгами[41].

Очень красочное описание повседневности крепостного рабства оставили русские писатели XIX века. Они написали свою «Хижину дяди Тома» для русских Ивана и Марьи. Стоит только обратиться к таким произведениям, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Николаевича Радищева, «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина, «Пошехонская старина» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева, «Сорока-воровка» и «Кто виноват?» Александра Ивановича Герцена, «Антон-Горемыка» Дмитрия Васильевича Григоровича, стихи и поэмы Николая Алексеевича Некрасова... Многие из этих книг прочитал и Кропоткин...

Да уж, перечитав эти книги и внимательно изучив факты, не устаешь удивляться, какими все-таки гуманными оказались русские крестьяне по отношению к своим бывшим хозяевам. Ведь не было в России массовой резни дворян бывшими крепостными и их потомками – ни в 1905-м, ни в 1917-м. Но волей-неволей начинаешь понимать причины массового погрома дворянских усадеб в годы русских революций начала XX века. Как только стало возможно, крестьяне безо всякого сожаления расстались с «Россией, которую мы потеряли». Той самой, где «вальсами Шуберта» и «хрустом французской булки» «упоительными вечерами» наслаждались совсем другие люди, в том числе и те, кто калечил, убивал, насиловал крестьянских сестер и матерей. Поэтому пожары дворянских усадеб для крестьян были всего лишь... праздничной иллюминацией.

И факт этой иллюминации, со всеми историческими реалиями, очень точно отметил гениальный русский поэт Александр Блок, имение которого потомки крепостных крестьян тоже разнесли вдребезги: «Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мощной, а дураку – образованностью. Все – так. Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают. Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то эти должны чувствовать "лучшие"..."»[42]

Но эти «лучшие» тоже были. Благодаря им появились «кающиеся дворяне», желавшие вернуть долг своих предков крестьянам. Среди них будет и Петр Кропоткин...

* * *

На всю жизнь Петр Кропоткин запомнил сцену из детства: отец распорядился дать крепостному Макару, дворовому слуге и настройщику инструментов домашнего оркестра, сто розог, чтобы проучить «хамово отродье». Маленький Петя, увидев наказанного, расплакался. «После обеда я выбегаю, нагоняю Макара в темном коридоре и хочу поцеловать его руку; но он вырывает ее и говорит не то с упреком, не то вопросительно:

– Оставь меня; небось, когда вырастешь, и ты такой же будешь?

– Нет, нет, никогда!»[43] – воскликнул мальчик.

Вторым фактором, который, безусловно, оказал воздействие на формирование настроения и характера мальчика, были тяжелые отношения с отцом, «типичным николаевским офицером» и помещиком (хотя и не слишком жестоким с крестьянами), заядлым картежником, человеком авторитарным и консервативным. Настоящий барин, высокомерный со своими крепостными, он проявлял ревностную готовность услужить начальству. Так, в 1857 году разразился настоящий скандал. Стремясь угодить своему корпусному командиру, генералу от инфантерии Николаю Ивановичу Гартунгу, Алексей Петрович, выполняя его просьбу, перевел в разряд «неспособных» солдата, который служил у Гартунга управляющим. Отца Кропоткина обвинили в служебном злоупотреблении, ему удалось уладить дело лишь благодаря связям и хлопотам его второй жены. После этого он и сумел выйти в отставку в чине генерал-майора.

Первые годы отец мало занимался своими детьми, а когда те подросли и стали искать своих путей в жизни, столкновение характеров переросло в острейший конфликт. Судя по воспоминаниям, родитель воплощал в себе как раз то, чего повзрослевший Петр Алексеевич не переносил.

А вторая жена отца, Елизавета Марковна, дочь адмирала Черноморского флота Карандино, отнюдь не способствовала взаимопониманию между отцом и детьми от его предыдущего брака. Овдовевший сорокатрехлетний Алексей Петрович женился на ней, когда Петру было шесть лет. Мачеха удалила из нового дома все, что могло напоминать о ее предшественнице, и порвала связи с ее родней. Формально она проявляла к детям положенное отношение, но на самом деле их не любила и настраивала отца против них. Когда Александр и Петр подросли и учились в Петербурге, княгиня перехватывала у слуг и вскрывала их письма, жаловалась мужу на вольнодумство юношей, возмущалась их интересами и религиозными исканиями и настаивала на том, чтобы они избегали общения со старшей сестрой Еленой и ее мужем, чиновником Военного министерства, Николаем Павловичем Кравченко, так как в их доме «много говорят вольного»[44]. Пасынки платили жене отца стойкой неприязнью: в переписке между собой они называли ее «не любезной, а проклятой мачехой», «подлой бабой», «дрянью» и «пугачихой»[45]. Ну а Елена в этой ситуации стала альтернативным образом идеальной женщины, противостоявшей мачехе. Петр боготворил Елену, как вспоминала позднее ее дочь, Екатерина Половцова, «считал ее совершеннейшей женщиной». Более того – идеалом женщины. Однажды он даже произнес: «Если бы ты не была моей сестрой, Леноч, то я был бы влюблен в тебя как в женщину»[46].

Чтение «подлой бабой» их писем – одна из наиболее частых тем в переписке между Александром и Петром Кропоткиными в то время, когда младший из них учился в Пажеском корпусе... Эта ситуация заставляет братьев хитрить, осторожнее выражать свои мысли, использовать для переписки адреса третьих лиц. Например, упомянутого Николая Кравченко. В общем, если революционером Петя Кропоткин еще не был, то навыки конспирации и подпольной борьбы он усвоил уже в пятнадцатилетнем возрасте. Так, братья использовали для переписки специальный трафарет. Прикладываешь его на текст – и сразу выделены нужные слова. Складываешь их во фразы, предложения и понимаешь, о чем хотели сказать. Этот способ переписки братья пытались использовать и в начале 1860-х годов, во время службы Петра в Сибири[47], когда тот писал откровенно о начальстве.

Одно из своих литературных произведений, написанных в пятнадцатилетнем возрасте, Петр назовет «Воспоминания о детстве, или Скрытая жизнь»[48]! Случайно ли это? Вряд ли... Ощущение «скрытой жизни» прослеживается не только в переписке братьев, но и в отношениях с отцом. Петр в большей мере проявляет скрытность и неоднократно предлагает Александру осторожную и тонкую стратегию сопротивления родителям, не лишённую манипулятивных моментов. Покаяться, сделать шаги к примирению с отцом, быть вежливым и дипломатичным в общении с ним. Но при этом он советует брату сохранять чувство собственного достоинства, а при попытке отца распускать руки – давать сдачи. Главное – иметь деньги для учебы, окончить корпус и получить офицерское звание. А дальше? А дальше – свободная жизнь взрослого человека, независимого от родителей...

В то же время на каникулах во время учебы в Пажеском корпусе Петя уже использует открытые формы борьбы. Он дискутирует с мачехой о целесообразности тех или иных правил поведения дома. Или же ведет с отцом вежливый спор о поведении брата Саши, пытаясь смягчить отцовскую ненависть. Это первые уроки политической гибкости в его жизни. Обо всех этих разговорах Петр тут же сообщает Александру Кропоткину. Петр Кропоткин даже планировал прочитать отцу и мачехе рецензию, которую Николай Алексеевич Добролюбов, литературный критик, пропагандист социалистических идей, друг Николая Гавриловича Чернышевского, написал на книгу Николая Ивановича Пирогова «Вопросы жизни»[49]. Пирогов, всемирно известный хирург, впервые применивший наркоз при операциях в полевых условиях, отважно работавший в Севастополе, осажденном в 1854–1856 годах англичанами, французами и турками, в конце 1850-х годов решил откровенно высказаться о проблемах воспитания. Сама эпоха Великих реформ, ставшая и временем великих ожиданий, очень располагала к этому. Хирург протестовал против произвола родителей, безгранично распоряжающихся жизнью детей, ругал современную школу за отсутствие связи с запросами современного общества. А главное, призывал родителей и педагогов воспитывать детей высоконравственными личностями, готовыми посвятить жизнь служению общественному благу. Нетрудно представить, чем бы закончились «пироговские чтения» в семействе Кропоткиных. Но ни самой акции протеста, ни репрессий за нее не последовало. Политическая гибкость и конспиративность снова восторжествовали.

Итак, почти классическая семейная мизансцена: рано умершая обожаемая мать, холодный и суровый отец и нелюбящая мачеха. В такой атмосфере может вырасти испорченный и озлобленный человек с исковерканным характером. А может – бунтарь, которому тесно в давящих рамках семьи и который стремится в большой и широкий окружающий мир, не боясь конфликта со своим окружением и своей средой. Случилось второе.

Американский историк Мартин Миллер, который десятилетиями изучал жизнь и творчество Кропоткина, отмечал, что позднейший анархизм стал для Петра Алексеевича своего рода логическим продолжением впечатлений детства, наполненных столкновениями с проявлением деспотической власти в разных ее формах и видах. Все это подготовило Петра к восприятию анархистских идей. Его подсознательно тянуло к поиску путей и средств разрешения собственных психологических проблем, порожденных эмоциональным разочарованием в личностях, олицетворявших власть[50].

Ранняя смерть матери обрекла мальчика на уязвимое состояние эмоционального сиротства. Мачеха с самого начала выступила в роли носителя деспотической авторитарной власти, изгнав из быта все, что напоминало о матери Петра, включая дом, слуг и контакты с родней. С психологической точки зрения мальчик столкнулся с двумя контрастирующими образами матери: настоящей, родной, которая символизировала для него отсутствие власти и любовь, – и приемной, ставшей самым ранним олицетворением диктата и отсутствия любви[51].

Настоящим носителем авторитарной власти для Петра явился отец с его знатной спесью, барством, военными замашками в быту, презрением ко всем нижестоящим и униженной готовностью раболепствовать перед начальниками. Маленькому Кропоткину предстояло воочию познакомиться с проявлениями обеих сторон авторитарного характера – садистской и мазохистской. В своих мемуарах Петр Алексеевич упоминает о самых разных эпизодах, которые врезались ему в память. Вот его и брата маленьких приводят утром здороваться с отцом и мачехой, заставляют униженно целовать им руки. Вот отец приказывает наказывать слуг. Вот он издает подробнейшие инструкции домашним, как им надлежит себя вести по дороге из дома в поместье, и отдает распоряжения крестьянам, больше напоминающие военные приказы и команды. А вот он трепещет перед фельдъегерем, привезшим императорский приказ, или посылает жену просить за себя, чтобы уладить скандал, грозящий ему отставкой... Еще одной стороной авторитарного деспотизма отца была его скупость: у маленького Пети не было собственных игрушек, а в годы учебы ему приходилось страдать от того, что из дома присылали на жизнь сущие копейки, так что порой было даже не на что купить книги[52].

С другой стороны, симпатии Кропоткина к народу, к простому и обычному человеку, которые не оставляли его на протяжении всей жизни, тоже уходят корнями глубоко в детство, детские и подростковые эмоциональные переживания. Одни из самых ранних его воспоминаний связаны с домашними слугами, их жалостью и любовью к нему, столь резко контрастировавшей с безразличием и нелюбовью со стороны отца и мачехи. Между ним и слугами установилась прочная связь. Тем более что они напоминали ему об ушедшей любимой матери. «Слуги были единственным облегчением от террора семейного авторитаризма, с которым он сталкивался ежедневно. В любой момент, за любой акт непослушания Петр мог быть наказан отцом, матерью и воспитателями. Напротив... крестьяне стали его защитниками и источником эмоциональной безопасности». Но и сам он с детства ощущал ожидания, возлагаемые на него крестьянами: «...он воспринимался слугами как альтернатива угнетательскому авторитаризму его отца»[53]. В отцовском поместье в Никольском мальчик также общался с крестьянами, заходил в гости к семье кормилицы, которая принимала его с огромным радушием, несмотря на крайнюю бедность. Детские воспоминания породили у Кропоткина даже скорее идиллическое представление о крестьянстве: «Немногие знают, как много доброты таится в сердце русского крестьянина, несмотря на то что века сурового гнета, по-видимому, должны были бы озлобить его»[54], – писал позднее Петр Алексеевич. Эти чувства привели затем Кропоткина в ряды революционеров-народников, сторонников освобождения крестьянской общины из-под ига государства. Впрочем, история крестьянских бунтов и Российской революции продемонстрировала, что «народ» может быть разным и по-разному себя вести, а озлобления и гнева за столетия накопилось все же предостаточно...

Старшие дети Алексея Петровича к моменту второй женитьбы отца уже, что называется, вылетели из родительского гнезда. Николай учился в московском кадетском корпусе. В 1853 году ушел добровольцем на Крымскую войну, чтобы избавиться от давящей домашней жизни. Он получил Георгиевский крест за доблесть и был произведен в офицеры. Но из всех детей отец не любил его больше всех. Сестра Елена училась в Екатерининском институте, а в 1856 году вышла замуж за артиллерийского офицера Николая Павловича Кравченко; в качестве приданого Алексей Петрович отдал рязанское поместье и двадцать пять тысяч рублей[55]. Дома оставались маленькие Александр (Саша) и Петя. Им предстояло расти вместе и стать близкими друзьями. Впрочем, настоящая духовная близость между ними развилась с годами, когда более старший и раньше развившийся Александр стал для младшего брата наставником, советчиком и примером. До этого Петр подчас ерепенился и бросал Саше: «Ты старше меня только одним годом»[56]. В 1850 году у отца и мачехи Кропоткина родилась дочь Пелагея. Дома ее называли Полиной. Мать ее обожала, баловала и позволяла все, а отец – терпел ради жены...[57]

* * *

Еще один сюжет в биографии Кропоткина, на который стоит обратить внимание, – раннее, еще детское восхищение красотой природы, ставшей как будто иной реальностью, альтернативной домашней тирании... Этому способствовали поездки в Никольское – имение отца, расположенное в Калужской губернии. «Трудно найти в Центральной России более красивые места для жизни летом, чем берега реки Серены. Высокие известняковые холмы спускаются местами к реке глубокими оврагами и долинами, а по ту сторону реки расстилаются заливные луга; темнеют уходящие вдаль тенистые леса, пересекаемые лощинами с быстро текущими речками. Там и сям виднеются помещичьи усадьбы, окруженные фруктовыми садами, а с вершины холмов можно насчитать сразу не менее семи церковных колоколен. Десятки деревень раскинуты среди ржаных полей»[58], – вспоминал позднее Петр Кропоткин. Это ощущение иной жизни в природе передала Наталья Михайловна Пирумова – одна из лучших исследовательниц жизни и творчества Кропоткина в нашей стране: «Бескрайние поля, леса и нивы среднерусской полосы создавали то, хотя еще и не осознанное, ощущение гармонии, которого не было в жизни»[59]. Лесные дубравы, начинавшиеся за Калугой и доходившие до Никольского, стали для мальчика прекрасным сказочным местом, той самой Нарнией, где он, подобно героям серии романов Клайва Стейплза Льюиса, скрывался от угнетающей реальности... «Громадные вековые сосны надвигаются со всех сторон. Где-нибудь в ложбине вытекает ключ холодной воды... В этом лесу зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечности жизни»[60], – вспоминал спустя десятилетия сам Петр Алексеевич.

Увлечение цветами и птицами, которое отмечает в воспоминаниях его племянница, Екатерина Половцова, вероятно, имеет свои корни в этом детском увлечении природой. «В Дмитрове я не раз заставляла его наблюдающим за прилетом и улетанием птички, поселившейся в своем гнездышке как раз напротив окна его маленькой, скромной комнатки, служившей ему спальней и рабочим кабинетом. Он точно знал, когда она вылетала, зачем и скоро ли вернется»[61]. Петр Алексеевич был увлеченным цветоводом и в Дмитрове, на

склоне лет, тратил кучу времени на это увлечение: «Цветы он любил не только как естествоиспытатель, зная, как полагается ботанику, в точности, к какому виду и семейству растение принадлежит, но любил с точки зрения художественной красоты, как тонкий эстетик. Он заботливо и нежно ставил всегда вазочку с цветами на стол – полевыми, когда не было других, – и любовался их изяществом. Любовь к цветам разделила с ним и его жена, Софья Григорьевна, большая любительница не только их красоты, но и тщательного ухода и выращивания их. Даже в тяжелое время пребывания в Дмитрове и большого стеснения в материальных средствах весь балкон и ступеньки входа были полны пахучими и красивыми цветами. В петлице у П[етра] А[лексеевича] тоже можно часто видеть какое-либо растение»[62].



Как это водилось в знатных дворянских семьях, Александр и Петр вначале получили домашнее образование. Их воспитывали и учили гувернантка Бурман и няня Ульяна, затем гувернер-француз Пулэн, бывший военнослужащий армии Наполеона, учитель-немец Карл Иванович и студент Николай Павлович Смирнов. Домашнее обучение преподавало мальчикам еще один урок авторитарного деспотизма: Пулэн нередко порол их розгами за непослушание, и только вмешательство старшей сестры Елены, которая устроила настоящий скандал отцу, положило конец этой позорной практике. Зато Смирнов не только преподавал детям грамматику: от него мальчик впервые услышал запрещенные стихотворения и узнал о существовании «подрывных» идей. Отец явно готовил сына к военной карьере. Впрочем, дальнейшую судьбу Петра предстояло определить событию, которое произошло с ним еще в шестилетнем возрасте: 11 апреля 1849 года, когда на балу в честь императора Николая I малыш, одетый в костюм, изображавший Уфимскую губернию, понравился монарху. После этого его записали кандидатом в Пажеский корпус, хотя поступления туда пришлось ждать еще восемь лет[63].

В 1853 году Петр поступил в Первую московскую гимназию, параллельно занимаясь на дому со Смирновым. Лучше всего ему давался русский язык, но уже тогда его увлекала география. Домашний учитель привил мальчику и первые литературные вкусы, и охоту к писанию. В архивах сохранилась тетрабочка с его первыми литературными опытами. Вот одно из них – подлинный детский мистический хоррор с сильной примесью черного юмора:

“ Вот шел я в лесок погулять,
Чтобы грибочки собирать;
Гляжу, тут скачет леший,
А за ним бежит домовый пеший.
За ним скачут черти
И жаждут смерти кого-нибудь из людей
Для забавы своих детей...[64]

Да уж, чувством юмора маленький Петя, определенно, обладал... Ну а сюжетец, близкий гоголевскому «Вию» и фильму ужасов «Яга. Кошмар темного леса», навевали русские

народные сказки, источником которых могли стать те же слуги отца...

Завести свой интернет-блог в условиях XIX века Петя Кропоткин, разумеется, не имел возможности, но zп'ы он издавал уже в 1853 году – самодельную ежедневную газету «Дневные ведомости». Скорее, это был дневник, стилизованный под газету с указанием номера и даты ее выхода. А главное, с подписью: «Редактор П. Кропоткин». Все события своей жизни в ней Петя Кропоткин описывал с точностью и аккуратностью.

В 1855 году Петя и Саша начинают вместе издавать ежемесячный журнал «Временник». Сам он писал в этот, как мы бы сказали сегодня, «самиздат» или DIY повести, а Александр – стихи. Эти «пробы пера» еще не имели никакого острого социального содержания, но им придавалось большое значение. Юные издатели подходили к своему делу очень серьезно, копировали многие черты литературных «толстых» журналов, в то время весьма популярных и читаемых дворянскими интеллектуалами. В 1906 году на чердаке барского дома в Никольском были найдены несколько номеров «Временника». Так сказать, отдельным изданием, на нескольких листках к ним прилагался... «Алфавитный указатель» (!!!) статей zп'a за 1856–1857 годы[65]. Вместе с тем для литературных интересов юного писателя и переводчика Пети Кропоткина уже характерен энциклопедизм, желание писать о самых разных областях жизни. Среди написанных им для «Временника» текстов можно увидеть не только стихи, рассказы и повести собственного сочинения и в переводах с французского. Здесь и публицистический труд «Взгляд на войну, 1853–1856[66]», а также переводные научно-популярные тексты («Об уме», «О пользе удобрений из гипса и навоза для хлебных растений», «Изобретение гравировки», «Роскошь в Париже при Людовике XIV»)[67]. После поступления в Пажеский корпус Петр планировал продолжать zп, обсуждал с братом содержание будущих номеров.

Чувство юмора по-прежнему мальчику не изменяло, о чем свидетельствует одна из публикаций во «Временнике», посвященная событиям Крымской войны. Она достойна того, чтобы процитировать ее. На сей раз это была публикация патриотического характера. Она датирована 14 марта 1855 года и появилась под заголовком «Хладнокровие и неустранимость русских»:

“ Во время переправы через Дунай наших войск 11 марта, при взятии турецких укреплений один рядовой из отряда генерал-лейтенанта Ушакова, будучи ранен пулей в живот и чувствуя, что пуля проникла недалеко, расстегивает мундир, сам вынимает пулю и, зарядив ею ружье, выстреливает в неприятеля, говоря: «Ступай назад, дура»[68].

Постепенно Петр привыкал осмысливать в литературной форме свою жизнь и окружающий мир. Он пытается писать «повести из детства», по собственному признанию, ориентируясь на широко известные читателю «Детство. Отрочество. Юность» Льва Николаевича Толстого и «Детские годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксакова[69]. В 1858 году он отошлет одну из них, «Ярмарку в Унцовске», в журнал «Сын Отечества»[70]. Напечатана она так и не была. А вскоре Петр Алексеевич перестал писать литературные произведения. «Начиная с 15 лет я бросил писать рассказы»[71], – вспоминал он позднее.

Наибольшее влияние на литературные вкусы Кропоткина оказал Тургенев. Екатерина Половцова отметила, что в «Записках революционера» Ивану Сергеевичу посвящено целых пять страниц[72]. Это значительно больше, чем другим писателям. Даже Чернышевскому, которого Кропоткин хвалит и оценивает куда менее критически: «Тургенев, по художественной конструкции, законченности и красоте его повестей, является едва ли не величайшим романистом девятнадцатого столетия»[73].

В августе 1857 года Петр Кропоткин был наконец принят в Пажеский корпус в Петербурге, куда его отвезла мачеха. Поскольку мальчик «срезался» на экзамене по математике, его зачислили в самый низший класс, и ему предстояло отучиться в корпусе пять лет. Согласно его уставу, «Пажеский корпус есть училище для образования нравов и характера, и в котором имеют быть преподаваемы нужные офицеру постановления». В нем «благородное юношество чрез воспитание приуготовляется к воинской службе строгим повиновением, совершенною подчиненностью и непринужденным, но добровольным выполнением должностей своих»[74]. Говоря по-современному, это было... Наберись терпения читатель, чтобы произнести такую бюрократическую формулировку: элитарное и привилегированное среднее профессиональное военно-учебное заведение. По словам самого Кропоткина, одновременно это офицерская школа и придворное училище. С начала XIX века корпус служил кузницей гвардейских офицеров, его курировал императорский двор.

Доступ в корпус был открыт только детям из титулованного и древнего дворянства, а также из семей самых высших чиновников государства. Учащиеся рассматривались как причисленные ко двору, время от времени несли там караульную службу. Отличившиеся, которых возвели в камер-пажи, служили при членах императорской семьи во время официальных церемоний. Заведение размещалось в роскошном барочном здании дворца, построенном в середине XIX столетия для канцлера Михаила Илларионовича Воронцова знаменитым архитектором Бартоломео Растрелли. Главный фасад и широкий парадный двор до сих пор выходят на Садовую улицу, напротив Гостиного двора в самом центре Петербурга; за ним до самой реки Фонтанки располагался обширный регулярный сад.

Школьные годы – нередко определяющее время для формирования характера человека. Анархисты вовсе не случайно всегда уделяли большое внимание вопросам образования. Именно в школе, говорят они, подрастающее поколение приучается к повиновению и принудительной дисциплине. «Очень редки те, кому удалось избежать этой тирании, обессиливающей таким образом любой бунт против нее, потому что школьная организация угнетает их с такой силой, что им не остается ничего иного, кроме как подчиниться», – писал Франсиско Феррер-и-Гардиа, вероятно, самый известный из педагогов-анархистов. Эта организация, по его словам, может быть охарактеризована «одним-единственным словом: Насилие. Школа подчиняет детей физически, интеллектуально и морально, чтобы управлять их развитием и их способностями так, как надо системе, она лишает их контакта с естественностью, чтобы штамповать из них угодных системе граждан»[75].

Почти пятнадцатилетнему Петру Кропоткину предстояло столкнуться с этим насилием в стенах учебного заведения, где метод воспитания, как вспоминал он позднее, был «заимствован из французских иезуитских коллегий». С одной стороны, иезуиты давали детям образование, развивая самые разносторонние способности. Из созданных ими школ

выходили прекрасно образованные люди. Но все это дополнялось системой воспитания, построенной на тотальном контроле за жизнью воспитанника, поощрением доношительства и беспрекословным повиновением старшему. Гофмейстер, ротный командир и главный офицер-воспитатель, отставной генерал-майор Карл Карлович Жирардот, «желал всех и всё подчинить своей воле»[76]. Он полагал, что «паж должен быть воспитан, вежлив, хорошо говорить по-французски, быть проникнутым чувством долга, любить царя, отечество, службу и никогда не лгать». Как вспоминал выпускник Пажеского корпуса князь Александр Константинович Имеретинский, Жирардот «успешно действовал неослабностью надзора и неуклонным настойчивым терпением, с которым проводил свою воспитательную систему»[77].

Начальство корпуса не только поддерживало систему наказаний, шпионажа, обысков и третирования неугодных учеников, но и поощряло самый настоящий террор старших учеников над младшими – то, что сегодня называется словом «дедовщина». Петру доставалось и от воспитателей, и от «стариков». Жирардот придирался к нему по мелочам и оскорблял, а старшеклассники избивали линейкой за отказ поднимать фуражку, брошенную одним из них. Однако юноша быстро научился давать отпор обидчикам: отвечал начальнику колкими шутками или резкой отповедью на оскорбление, а в конфликте со старшими камер-пажами получил помощь со стороны других учеников. «Старикам» удалось дать коллективный отпор. Мы не знаем, какую роль сыграл сам Кропоткин в таком сплочении товарищей, но можно предположить, что немалую.

Таков был первый урок социального протеста в жизни Кропоткина... Мальчик учился сопротивляться произволу власти имущих и одновременно приобретал первый опыт совместных действий в защиту своих прав и интересов. Со временем, на фоне общей атмосферы духовного подъема и либеральных настроений обновления в первые годы после смерти императора Николая I, учащиеся Пажеского корпуса становились все смелее. Они устроили акцию протеста – бойкот преподавателя рисования, который старательно записывал нарушителей порядка и доносил о них начальству. Осенью 1860 года ученики уже бунтовали против нового ротного командира – капитана Федора Кондратьевича фон Бреверна, который сменил Жирардота. За эти протесты Петру Кропоткину пришлось даже отсидеть в карцере. Это был первый «тюремный опыт» будущего революционера. Как гласит русская пословица, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся»...

Мертвящая дисциплина раздражала юношу. «С каждым днем ненавижу я все более Корпус», – писал он брату Александру. Однако с товарищами по учебе он скоро нашел общий язык и сдружился, хотя и жаловался, что там «нет никого с одинаковыми мне наклонностями»[78]. Правда, продолжать литературные опыты было трудно, да и с чтением книг поначалу возникали проблемы: «У нас в Корпусе можно держать только книги, которые подпишет инспектор»[79]. Правда, среди этих книг оказались некие «История революций» («Histoire des révolutions») и «Картина революции» («Tableau des révolutions») на французском языке[80]. Юный Петр жаждал заняться их переводом. Впервые в жизни он интересуется темой революций! Позднее библиотекарь проигнорировал запреты начальников и стал пускать Петра в богатую библиотеку училища, а затем он смог посещать и Публичную библиотеку. К тому же Кропоткину повезло со многими из учителей. Преподавать в заведение были приглашены талантливые педагоги, о которых Петр Алексеевич

впоследствии отзывался с большой теплотой. Профессор Владимир Игнатьевич Классовский и специалист по творчеству Шекспира Константин Акимович Тимофеев преподавали литературу. Профессор Карл Андреевич Беккер обучал немецкому языку, капитан Сергей Петрович Сухонин – математике, Чарухин – физике, Петрушевский – химии... Юноша и сам много и увлеченно читал, совершенствуя свои знания по географии, политэкономии, истории и естественным наукам. За эту склонность к чтению, как и к сочинительству, в Пажеском корпусе Петра прозвали «отцом-литератором». Особенно плодотворным оказывался месяц после окончания экзаменов, когда ученики возвращались в корпус только есть и спать. Паж Кропоткин мог заниматься в библиотеках, рассматривать картины в Эрмитаже, слушать оперу и посещать промышленные мастерские, где у него пробудился интерес к технике и машинам... Летом учащиеся военных училищ выезжали в полевой лагерь в Петергофе.

* * *

«Главный отдых мой – когда я играю», – говорил Петр. Ну нет! Он не был ни геймером, ни картежником, ни даже любителем казино, как Федор Михайлович Достоевский. Зато Кропоткин был незаурядным музыкантом и даже писал музыку. «Ну что я за композитор!» – отмахнулся он, когда в 1920 году кто-то предложил записать на фонограф исполнение его собственной музыкальной темы, написанной на стихотворение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновение». Об этом вспоминала исполнительница русских народных песен и романсов Евдокия Дмитриевна Денисова. В 1908 году Кропоткин пришел на ее концерт в Лондоне. С тех пор Дунечка, как называл Денисову «молодой дедушка» (таким прозвищем наградила она Кропоткина), неоднократно бывала у него дома. Вместе эта музыкальная парочка проводила целые вечера за роялем, аккомпанируя при исполнении произведений Глинки и Даргомыжского. Оказалось, что любимыми музыкальными произведениями великого анархиста были оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Текст первой из них он знал наизусть и даже подсказывал Дунечке слова. А незадолго до смерти ему вдруг захотелось, «чтобы Дунечка пришла и помурлыкала». После возвращения Кропоткина в Россию его частыми гостями были музыканты[81].

Гости часто заставляли Кропоткина за пианино[82], без которого Петр Алексеевич не мог представить своей жизни. В последние годы жизни Кропоткин интересовался творчеством Скрябина и очень любил слушать его «Пьесы для левой руки». По некоторым сведениям, с композитором он познакомился в Лондоне. Как вспоминала его племянница, Екатерина Половцова, Кропоткин очень любил музыку Рихарда Вагнера. За несколько недель до смерти он просил ухаживавшую за ним сестру милосердия Екатерину Линд играть ему на рояле[83].

С оперой были связаны и первые глубокие любовные переживания Петра Кропоткина. В 1919 году в письме известному актеру Александру Ивановичу Южину-Сумбатову он признался, что в юности был влюблен в оперную певицу: «Любовь с ее восторгами я узнал, влюбившись лет шестнадцати в одну высокодраматическую исполнительницу Нормы[84], – забыл ее имя»[85].

Интерес же к драматургии у молодого Кропоткина начинается с четырнадцатилетнего возраста. Первым в его жизни был Малый театр. «"Ревизор", "Горе от ума" и "Свадьба Кречинского" со Щепкиным, Садовским и Шуйским легли неизгладимым впечатлением»[86], – вспоминал он первые театральные впечатления в письме Южину-Сумбатову. Именно на здании Малого театра, по иронии судьбы, в 1919 году большевики разместили барельеф Петра Кропоткина с цитатой: «Обществу, где труд будет свободным, нечего бояться тунеядцев». Свободным труд, как известно, так и не стал. Тунеядцы тоже никуда не делись – ни тогда, ни теперь... А такому милому совпадению Кропоткин порадовался от всей души: «...именно то, что он на Малом театре... порадовало меня. Во всяком другом месте я был бы совершенно равнодушен, а тут... любовь театра заговорила!»[87]

* * *

Но времени на самостоятельные занятия и чтение было мало: «У нас и комнаты нет, чтобы заниматься, все это делается в роте, так что для того, чтобы читать что-нибудь серьезное, есть время только вечером от 8 до 9½ ч., да еще час, когда все лягут, от 10 до 11 ч., а я не всегда могу заниматься в это время; к концу учения обыкновенно глаза болят»[88], – жалуется Петр Александру.

И тем не менее, вспоминая позднее годы своей учебы в Пажеском корпусе, Кропоткин признавал, что, в общем, получил весьма неплохое образование. «Наша программа (кроме военных предметов, вместо которых мы могли бы с большей пользой изучать точные науки) была вовсе недурна...» – писал он в «Записках революционера», с похвалой отзываясь о разнообразии предметов и конкретности преподавания[89]. И в то же время этот опыт обучения стал основой для будущих размышлений анархиста о системе образования в целом. Мало отдельных знаний и обилия фактов – нужны обобщение и систематизация в преподавании любых наук: географии, естествознания, литературы... «Философия и поэзия природы, изложение метода точных наук и широкое понимание жизни природы – вот что необходимо сообщать в школе ученикам, чтобы развить в них реальное естественно-научное мировоззрение»[90].

Но и этого мало. Всего через одиннадцать лет после окончания Пажеского корпуса Кропоткин, в то время уже участник народнического движения, провозгласил принцип всеобщего интегрального, целостного образования как основы для свободного развития каждой человеческой личности. В качестве альтернативы современному разделению системы образования на начальное, среднее, профессиональное и высшее он выступил за соединение «научного» и ремесленного обучения[91]. Цель новой интегральной школы – подготовить «здоровых работников, одинаково способных как к дальнейшему умственному, так и к физическому труду». Революционным преобразователям России предстояло собрать воедино теоретические научные и практические ремесленные знания, объединить все виды образования в общую для всех жителей страны трудовую школу: «закрывать все университеты, академии и прочие высшие учебные заведения и открыть повсеместно школу-мастерскую, которая в очень скором времени объемом преподавания, конечно, доразовьется до уровня теперешних университетов и превзойдет их»[92].

Но до этого еще далеко... В годы учебы в Пажеском корпусе становление мировоззрения юного Петра Кропоткина только начинается.

* * *

Первоначально молодой паж был очарован исторической наукой. Это несколько не удивляет, ведь властители дум интеллигенции эпохи Николая I и отчасти времен Александра II были историками. Среди них – один из лидеров либералов-западников Тимофей Николаевич Грановский (1813–1856), собиравший на свои лекции по истории Западной Европы аудитории, полные далеко не только студенческой публики. Умеренным либералом-западником был и Сергей Михайлович Соловьев (1820–1879) – прославленный автор многотомной «Истории России с древнейших времен». Столь же яркой личностью был его друг и ученик Петр Николаевич Кудрявцев (1816–1858) – автор трудов по истории средневековых Италии и Франции. Активное участие в политических дискуссиях принимал историк-славянофил Иван Дмитриевич Беляев (1810–1873). Талантливым и весьма эрудированным исследователем истории России был один из глашатаев ультраконсервативной «теории официальной народности» Михаил Петрович Погодин (1800–1875). Был ли прав Петр I, проводя свои реформы, или же следовало сохранить на Руси допетровские порядки? Когда возникла община в России и какова ее роль в истории? По этим вопросам в политизированных интеллектуальных салонах и на страницах толстых журналов шла очень жестокая рубка. Все понимали: тот или иной вывод из истории указывает путь в будущее...

Молодой Петр Кропоткин откровенно писал о том, что хотел бы стать историком[93]. Он был знаком с трудами Грановского и Кудрявцева. Вероятно, исследовательский путь первого из них вдохновлял Петра. В одном из писем брату он говорит о желании «познакомиться с антропологией, о необходимости которой для истории я узнал у Грановского». И вот «для того, чтобы узнать свои способности по истории», Петр планирует ни много ни мало «написать монографию» о жизни французского короля Филиппа IV Красивого[94]. Ведь защитил же Грановский докторскую диссертацию о жизни аббата Сугерия (1081–1151) – одного из объединителей Франции, боровшегося за укрепление королевской власти и укрощение строптивых баронов, герцогов, виконтов и графов, которые предпочитали быть самостоятельными правителями в своих маленьких и крупных феодальных государствах. И вот теперь юный историк был готов приняться за работу. «Я выбрал уже источники, и так как 12 мая кончаются у меня экзамены, то я тогда примусь за дело: источники доставит, конечно, Публичная библиотека»[95], – уверенно сообщал он брату в письме от 18 мая 1859 года.

Впрочем, вскоре его интеллектуальные интересы меняются. Вполне в стиле эпохи... Естественные науки наложили глубокий и неизгладимый отпечаток на все мировоззрение Кропоткина. И это, пожалуй, не должно удивлять. XIX столетие было эпохой основополагающих открытий в самых разных областях человеческого знания – географии, биологии, химии, физике, медицине – и технических изобретений. Даже в гуманитарной сфере, в философии и социологии, происходил отход от столь популярных прежде умозрительных схем и картин мироздания. Строгие и величественные построения немецких

классических философов уходили в прошлое. По всем фронтам бурно наступал позитивизм – философское учение, отвергавшее любые «абстрактные» теории и идеологии. Он провозглашал, что по-настоящему важны и ценны только «опыт», практические, эмпирические и доказательные исследования, так называемое позитивное знание. Позитивисты выступали за всеобщее применение во всех науках, в любом познании «индуктивно-дедуктивного метода естествознания», который позднее уже зрелый Кропоткин стремился использовать для изучения явлений общественной жизни. Ведь в конце концов как говорил позднее его друг и соратник, знаменитый географ-анархист Элизе Реклю, «человек – это природа, осознающая сама себя»[96].

Именно естественные науки стали основой мировоззрения и мировосприятия русской прогрессивно мыслящей молодежи конца 1850–1860-х годов – так называемых нигилистов. Они привлекали именно своей «научностью», опорой на реальность, опыт, точные, доказанные экспериментами факты. Символом поколения стал Евгений Базаров, герой романа «Отцы и дети», написанного Тургеневым, чье творчество так любил Кропоткин. В этой книге нетрудно обнаружить такие высказывания: «Природа – не храм, а мастерская, и человек в ней – работник»; «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», а «Рафаэль гроша медного не стоит». Конечно, подобные фразы были полемическими преувеличениями, и Кропоткин, не отвергавший искусство, никогда не согласился бы с ними – ни в юности, ни позднее.

Но одно они передавали совершенно точно: именно естественным наукам и естественно-научному мировоззрению отдавали приоритет молодые «нигилисты» – новое молодежное контркультурное течение. Уже летом 1859 года Петр читает труды вульгарных материалистов, которых так славит тургеневский Базаров: Карла Фохта, Людвига Бюхнера и Якоба Молешотта. Из книги Фохта «Материя и сила» (Тургенев ее тоже упоминает в своем романе) Петр делает вывод: «истины материалистов вовсе не метафизика...»[97] С тех пор этот философский термин на букву «м» становится для него ругательным словом, обозначая нечто умозрительное и далекое от науки.

«Нигилизм, – свидетельствовал революционер-народник Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский, – объявил войну не только религии, но и всему, что не было основано на чистом и положительном разуме, и это стремление, как нельзя более основательное само по себе, доводилось до абсурда нигилистами 60-х годов... Нигилизм восторжествовал по всей линии»[98]. Глашатай и кумир русских нигилистов, Дмитрий Иванович Писарев, которого молодежь читала взахлеб, провозглашал, что естественные науки должны стать основой практической жизни человека. «Истинная наука ведет к осязательному знанию», – писал он. «Все материальное благосостояние человека зависит от его господства над окружающей природой, и это господство заключается в знании естественных сил и законов». И даже мировоззрение человека есть лишь сумма «объяснений, относящихся ко всем различным явлениям природы»[99].

Именно в такой интеллектуальной атмосфере формировались интересы юного Петра Кропоткина. Как и «нигилисты», он отдавал предпочтение естественным наукам и стремился изучать именно их. Как и те, он стремится к свободе мысли, к освобождению от устоявшихся шаблонов, норм и верований. Как и другие ищущие и мыслящие молодые люди,

он искал в этих областях знания ключ к пониманию того, что происходило вокруг него. Об этом свидетельствует его активная переписка с братом Александром: оба они могут на протяжении долгих страниц обсуждать научные вопросы и гипотезы. «Чистая», умозрительная абстракция их не занимает, а социальные темы привлекают их внимание прежде всего с точки зрения практического применения тех или иных идей.

Такое отношение к «абстрактному» знанию Кропоткин сохранил на всю жизнь. К нему он относил и философию Гегеля и Маркса. Марксизм с его философией был для него отвлеченной и далекой от жизни абракадаброй, которая пытается втиснуть многообразную, живую реальность в узкие рамки заранее выведенных умозрительных законов, чем-то вроде заклинания «великого святого Маца» у китайского писателя Лао Шэ: «Пулопулап – это выше-нижний варэ-варэ среди ящихся всего планетозема!»[100] Уже в зрелом возрасте Кропоткин не переставал обрушиваться на «метафизические» обобщения, «установленные либо диалектическим методом, либо полусознательною индукциею». По его мнению, они отличались «отчаянною неопределенностью», основывались «на весьма наивных умозаклечениях» и догадках, были «выражены в столь отвлеченной и столь туманной форме», что позволяли сделать самые различные, даже диаметрально противоположные выводы[101]. Именно поэтому Петр Алексеевич стремился позднее поставить анархизм на строго «научную» основу.

Интерес Кропоткина к изучению природы методом естественных наук в сочетании с литературным талантом и литературным вкусом, воспитанным на романах Тургенева, иногда побуждал его писать необыкновенные, парадоксальные строки. Таков, например, фрагмент из его воспоминаний, написанных в 1907 году в честь друга, известного революционера Степняка-Кравчинского. Поэтичное описание огня в печи крематория, где сожгли тело друга, полное красочных аналогий с природными явлениями, поистине заслуживает цитирования: «Тут, в небольшой зале... перед нами открылась громадная печь, наполненная раскаленными газами такой яркости и красоты, таких волшебных цветов, какие видны только при восходе солнца на море или в горах. Туда быстро вкатили гроб, и он исчез среди охвативших его клубящихся лучезарных, розоватых огней...»[102]

Или взять хотя бы его восторг естествоиспытателя от грозы в Никольском, запечатленный в одном из писем брату Саше: «Какая великолепная была сейчас гроза, она теперь снова начинается, но в другой форме, я в жизни не видал такой грозы, – такой массы накопившегося электричества и такого способа разряджений. Отдельных ударов совсем не было, а непрерывное, без преувеличения, освещение $\frac{1}{4}$ неба ярким фосфорическим светом, гром гремел изредка; хотя гроза была близко от нас, но молния за молнией освещали Никольское так великолепно, что я не мог оторваться от окна. Такая гроза – счастье»[103]. Как тут не вспомнить знаменитое изречение Максима Горького: «Пусть сильнее грянет буря...»

* * *

Огромную роль в становлении нового мировоззрения играли переписка со старшим братом Александром и чтение радикальных книг.

Саша был старше Пети на полтора года и к моменту поступления младшего брата в Пажеский корпус уже учился в кадетском корпусе в Москве. Как видно из их переписки, он первый пустился в мировоззренческие искания, не удовлетворенный догмами официальной православной церкви. Александра увлекли идеи испанского еретика XVI столетия Мигеля Сервета, которого преследовала католическая церковь, а затем сожгли в Женеве по настоянию неистового Жана Кальвина. Затем симпатии Александра Кропоткина завоевали доктрина Мартина Лютера и философия Иммануила Канта. Вслед за братом «Критика чистого разума» Канта привела юного пажа в неописуемый восторг. «Что за чудесная книга! Я до сих пор не читал ничего подобного. Я читал, ломал голову по ½ ч. На 2, 3 стр[аницах]. А что за прелесть! После святой, как хочешь, а я буду продолжать читать это и наслаждаться»[104], – писал он брату в декабре 1858 года. Некоторое время Петр даже подумывал об официальном переходе в лютеранство, но такой шаг в тогдашней России был очень рискован. За отступление от государственной веры человека могли лишиться званий и чинов и отправить в ссылку. Поэтому Александр сохранял свои искания в тайне, но в письмах настойчиво звал Петра ознакомиться с прочитанными им книгами и последовать его примеру. Эти призывы побуждали брата к размышлению и духовному развитию: «Он поднимал один за другим вопросы философские и научные, присылал мне целые ученые диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне читать и учиться», – вспоминал Петр Алексеевич[105].

Сам он твердых религиозных убеждений не имел и глубинной верой не отличался. Его терзали сомнения. Церковные догматы казались ему нелепыми. «Я, по крайней мере, нахожу, что все-таки лучше быть лютеранином, как ты, чем православным, как я, – писал Петр Александру в октябре 1857 года, – потому что я не имею никакой религии, я нахожу, что я жалок даже теперь, верю, что Бог есть, что Иисус Христос есть, а между тем это все так неясно в моей голове, что я путаюсь... Я даже невольно смеялся иногда, проходя мимо молящихся на площадке у дверей нашей церкви... Я наконец дошел до того, что почти ничему не верю, это состояние неприятно поражает меня, и я не знаю, как выйти из него...»[106] Вот уже три года он испытывает этот душевный кризис и «не имеет религии». Он готов был примкнуть к лютеранам, затем увлекался философией французского вольнодумца XVIII века Франсуа Вольтера, который отвергал как религию, так и атеизм, склоняясь к мысли, что у вселенной был разумный творец, но, свершив свое дело, тот больше не вмешивается в происходящее. Петр критиковал поклонение иконам и мощам, но допускал переселение душ... Затем, борясь с сомнениями, он пришел к выводу, что все доказательства существования бога не выдерживают критики: я «начинаю ни во что не верить»; «религия утвердилась оттого, что прежде не находили ни на что объяснений»; «наш внутренний голос – вот вся наша религия, я думаю»[107], – пишет Кропоткин брату в апреле 1858 года. Александр пытался переубедить Петра и отговорить его от пробуждающегося атеизма, но и сам колебался, взгляды его постоянно и мучительно менялись: к началу 1859 года он перешел на позиции философского материализма, старался «сделать Петю матерьялистом»[108] и преуспел в этом... Он советует брату книги по разным отраслям знания, которые можно и нужно прочитать. В 1860 году Саша, собиравшийся уже строить собственную философскую систему, с грустью писал брату, что в этой сфере они далеко разошлись. Петр стал атеистом, но его все меньше и меньше интересовало абстрактное философствование; Александра больше занимало чистое знание. Однако их интеллектуальный диалог продолжался и в последующем. В переписке они

обсуждают прочитанное, идеи Канта, теории изменчивости видов, научные открытия.

Александр всегда более резко и открыто бунтовал против отцовского деспотизма, за что Алексей Петрович платил ему настоящей ненавистью. Как отмечает биограф Кропоткина Мартин Миллер, Саша страдал от своих детских переживаний гораздо сильнее, чем его младший брат. Он испытывал безнадежную потребность «в любви, в которой, как он чувствовал, родители ему отказывали». Его духовные метания были более мучительными. Уже в 1860 году из их писем друг к другу становится видно, что роли братьев постепенно меняются: прежде в роли наставника выступал Александр, теперь уже советы дает младший брат. Первоначально Петр ощущает себя неуверенно, у него недостает знаний для аргументации, но постепенно становится все более твердым в своих мнениях[109].

Политические убеждения Александра были более умеренными, чем у Петра. Он – либерал и сторонник мирных преобразований, но понимает, что события могут развиваться и по другому пути. «Предвижу я вновь шествие рука об руку: пора готовиться Руси к свободе!.. я уже начинаю понемногу волноваться!.. тут мы, надеюсь, не разойдемся. – Может быть, близко время, когда интересы народа найдут во мне участие, равное с интересами науки», – уверяет Александр брата. «Не забудь твоих слов про шествие рука об руку, – отвечает тот. – Припомнишь их когда-нибудь – во мне будет верный товарищ»[110].

* * *

Вторая тема, которая волновала юного Петра в те годы, – это вопрос о реформах в России. Его не мог обойти вниманием ни один мыслящий человек. Споры в российском обществе шли нешуточные. Тяжелое и унижительное поражение в Крымской войне, расточительность, коррупция, экономические трудности – все это делало назревшие преобразования настоятельно необходимыми. «Несостоятельность всего существующего выдается все с большею и большею выпуклостью и резкостью. Бездна, в которую безнаказанно мы глядели, открывается все шире... – сетовал историк, либерал Константин Дмитриевич Кавелин в письме тогдашнему лидеру русской оппозиционной эмиграции Александру Герцену. – Все валится, все разрушается, ничего пока не создается. Нет возможности провидеть того синтеза, на котором построится новое общественное здание...» Кавелин констатировал, что «эмансипация спит и усыпляется умышленно», административные реформы парализованы, стране угрожает банкротство и «недовольство всех классов растет». «Какое-то тревожное ожидание тяготеет над всеми, но ожидание бессильное»[111].

Новый император Александр II распорядился подготовить проекты реформ, включавших ликвидацию крепостного права и перестройку государственных и административных учреждений страны. Эти планы, которые с 1857 года приобрели более четкие очертания и нашли свое завершение в знаменитом освобождении крестьян 19 февраля 1861 года, широко обсуждались тогдашней российской общественностью.

Петр Кропоткин горячо приветствовал новые веяния. «Я с жадностью слежу за всеми нововведениями, я ждал и жду многого от царствования Александра, но много, много нужно было устранить и потом приниматься за дело, – пишет он брату весной 1858 года. – Старая

система разрушается, новая не создана; это невозможно, ввели эмансипацию, бог знает, что будет из этого, притом теперь самодержавие невозможно, это должно измениться, и если не удалось в 1826 году, то удастся же теперь в скором времени, и авось мы доживем до того, что увидим Россию наряду с прочими евр[опейскими] государствами; многое, многое нужно будет переменить теперь, чтоб вышло что-нибудь порядочное»[112]. Приветствуя идею освобождения крестьян от крепостной зависимости, Кропоткин все же считал, что главным делом является ликвидация самодержавия и расточительных расходов на содержание императорского двора. «Не важнее ли в 10 раз образ правления? – задается он вопросом в письме Александру. – Не лучше ли было решить кровавые, может быть, вопросы тихим путем. Сократить расходы, постепенно вести дела к уничтожению самодержавия, а вместе с этим уничтожить крепостное право, а уничтожать его одно, а тратить черт знает что, не то же ли это, что готовить бунт». Петр Кропоткин еще далек от будущей анархистской мысли о желательности революции и надеется на мирные реформы. Он допускает, что «быть может, нельзя иначе переменить правительство, как силою народа». Но ему все еще кажется, что царю «можно, ведя дела постепенно, самому ограничить свою власть»[113].

В доме у дяди, князя Дмитрия Сергеевича Друцкого, Петр впервые познакомился с нелегальной революционной литературой, которая доставлялась в Россию из-за границы. Вместе с двоюродной сестрой Варварой Дмитриевной он зачитывался журналом «Полярная звезда». Его издавал Герцен в Лондоне. Кропоткин вспоминал позднее, с каким «молитвенным благоговением» рассматривал напечатанные на обложке профили казненных декабристов. «Красота и сила творчества Герцена, мощь размаха его мыслей, его глубокая любовь к России охватили меня, – писал он в «Записках революционера». – Я читал и перечитывал эти страницы, блещущие умом и проникнутые глубоким чувством»[114]. С 1858 года он читает российские литературно-политические журналы – либеральный «Русский вестник» и радикальный «Современник»[115]. Знакомится с произведениями Николая Платоновича Огарева, Николая Некрасова[116].

В 1858 году Петр попытался издавать в корпусе подпольную газету «Отголоски из Корпуса», осуждая в ней злоупотребления чиновников и горячо ратуя за конституцию и правовой строй для России. Листок должен «выводить все язвы Корпуса, ложное направление воспит[анников], разбирать их поступки», – объяснял Петр в письме Александру в апреле 1858 года[117]. Газета раскладывалась по шкафам учащихся, которых она могла заинтересовать; было определено место, куда желающие могли положить свои отзывы и заметки, – так функционировала обратная связь. Однако в итоге из проекта ничего не вышло: отклик был минимальным, и Кропоткин к осени прекратил издание. Но вокруг него образовалась группа из нескольких единомышленников. Это был его первый нелегальный «кружок»[118]...

Как и многие другие прогрессивно настроенные молодые люди рубежа 1850–1860-х годов, Кропоткин разделял иллюзии в отношении реформаторских планов Александра II. Молодежь верила, что новый император и стоящая за ним «партия» действительно желают повести Россию по-новому, передовому пути, но им мешают влиятельные консервативные круги. Петр с восторгом воспринял манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян. Молодые офицеры встретили речь царя, объявившего о том, что «положен конец вековой

несправедливости», криками «ура!». Вместе с другими учащимися Кропоткин с воодушевлением запел перед спектаклем в опере гимн «Боже, царя храни!». Огромное впечатление произвело на него и то, как приветствовали падение крепостничества крестьяне в поместье отца Никольское: «Когда я увидел наших никольских крестьян через пятнадцать месяцев после освобождения, я не мог налюбоваться ими. Врожденная доброта их и мягкость остались, но клеймо рабства исчезло. Крестьяне говорили со своими прежними господами как равные с равными, как будто никогда и не существовало иных отношений между ними»[119].

Но всем этим восторгам предстояло очень быстро улетучиться. Первые сомнения зародились после того, как в феврале 1861 года Петр был произведен в фельдфебели Пажеского корпуса и должен был дежурить при дворе. Теперь он мог не только познакомиться с нравами и интригами двора, но и наблюдать императора в непосредственной близости. «Ряд мелких случаев, а также реакционный характер, который все более и более принимала политика Александра II, стали поселять сомнения в моем сердце», – напишет Кропоткин позднее. Один из таких эпизодов произошел в январе 1862 года, когда царь на глазах у всех отказался принять прошение у упавшего ему в ноги старого крестьянина, пройдя мимо него, как будто это был не человек, а пустое место. Такое презрение к простым людям неприятно поразило Петра, и он решился на самовольный поступок: «Не было никого, кто мог бы принять бумагу. Тогда я взял ее, хотя знал, что мне сделают за это выговор: принимать прошения было не моим делом; но я вспомнил, сколько должен был перенести мужик, покуда добрался до Петербурга, а затем пока пробирался сквозь ряды полиции и солдат. Как и все крестьяне, подающие прошение царю, мужик рисковал попасть в острог, кто знает на какой срок»[120]. Конечно, жест Кропоткина ничему не мог помочь, но как еще он сумел бы выразить сочувствие и поддержку несчастному, измученному человеку?!

Тяжелое впечатление произвел на Петра жестокий разгон властями в Петербурге студенческих демонстраций осенью 1861 года. Использование войск для арестов участников безобидных сходок и шествий возмутило его до глубины души. «Подлость, мерзость, гадость»[121], – пишет он в письме брату о действиях генералов, организовавших репрессии. К этому времени он начинает интересоваться социальной ситуацией не только в России, но и в мире. Александр уже писал ему о пробуждении рабочих в Европе. Теперь в руки юноши попадает статья известного радикального публициста из журнала «Современник» Николая Васильевича Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и Франции». Информацию тот взял из книги Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Но для русской печати того времени это была новая и довольно оригинальная тема. Интеллигенция размышляла о том, что ждет Россию дальше, примеряя европейские модели развития, поэтому статья сразу же вызвала интерес читателей... Ведь раньше в России о положении бедноты в европейских странах почти никто не писал. Прочитав статью, Петр становится «горячим защитником пролетария»[122]. Написанную им рецензию на эту статью в декабре 1861 года опубликовал журнал «Книжный вестник». Его издателем был один из офицеров Пажеского корпуса, поручик Николай Алексеевич Сеньковский. Зная о литературных и журналистских интересах Пети Кропоткина, он предложил ему «написать что-нибудь» для своего журнала[123]. Это была первая печатная работа будущего анархиста!

Начинающий рецензент Петр Кропоткин ценит статью за «факты», которые показывают «другую "сторону медали"» «восхваляемой европейской цивилизации»: бедность рабочих в Великобритании – стране, в то время служившей эталоном развитой капиталистической страны. «Темные закоулки этих городов с их заразительными зловониями, теснотой, недостатком вентиляции и прочими ужасами пролетариата»[124], – это и есть неэталонная «сторона» жизни Британии, возмущившая юного пажа, уже насмотревшегося на «свинцовые мерзости» крепостного права в Отечестве своем...

* * *

Учеба в Пажеском корпусе была еще в самом разгаре, но нужно уже думать о будущем. Петр и Александр не хотели военной карьеры, которую готовил им отец. Они мечтали поступить в университет, но родитель решительно возражал. Деньги были в его руках, и тратил он их на детей весьма и весьма экономно. Первым взбунтовался более старший Саша. Вспыхнул грандиозный скандал – Алексей Петрович устроил ему настоящий разнос, обвинив в безделии и в том, что тот портит младшего брата. Он накричал на сына: «При мне, бывало, куда отец посадит, там и сидишь! <...> И как смеет сын рассуждать перед отцом!» В ответ Александр резко заявил: «То были ваши времена, теперь настали наши, в ваше время офицеру было достаточно уметь кричать погромче „направо“ – теперь же требуются от них знания военных наук. Я же ими не занимаюсь и не стану заниматься... Опять-таки в ваше время сын должен был молчать; теперь иное время...» В итоге Александр решил порвать с отцом[125]. Попытка примирения продлилась недолго, хотя Петр уговаривал брата избегать поспешных и резких решений. Окончив кадетский корпус, Саша жил в поместье Никольское, но в ноябре 1859 года, когда он собрался уехать в Москву, чтобы начать самостоятельную жизнь и работать учителем, отец набросился на сына и избил его. В январе 1860 года избиение повторилось; родитель не отпускал Александра и собирался определить его юнкером в Кольванский полк в Мещовске.

Сообщение об этом «ошеломило» и «взбесило» Петра, и в письме он гневно обрушился на брата: «Скажи, пожалуйста, что ты за баба такая? – негодует он. – Отец бьет тебя, и ты ничего не предпринимаешь; ты не обороняешься. Если дело дошло до драки, нечего церемониться, я бы сопротивлялся; что ты не пригрозишь жалобой к граждан[скому] губернатору? Что ты не напишешь этой жалобы, не удерешь пешком до Калуги, в случае крайней надобности, если никто не возьмется отвезти ее на почту. Отец бесчеловечно обращается с тобой, он задерживает тебя дома, тебе 19 лет, ты чиновник. Требуй настоятельно, дерись, коль на то пошло, таких господ легко испугать; а ты даешь над собою власть, затеял черт знает что, рискуешь всем, имея в виду очень мало. Тут я уж не стану тебе советовать ждать у моря погоды, беги в Москву во что бы то ни стало. Там найдется кто-нибудь, чтоб помочь»[126].

Но Александр считал, что деваться ему пока некуда. Более мягкий и впечатлительный по характеру, чем младший брат, он продолжал терпеть упреки, издевательства и придирки. Только летом 1860 года, раздобыв деньги, он сумел уехать в Москву. Известное примирение произошло только в январе 1861-го: вероятно, на отца подействовала судьба его старшего сына Николая. Тот служил офицером на Кавказе и спился. В 1861 году Алексей Петрович на

пять лет отдал его в монастырь «на послушание». Позже, в 1864 году, тот сбежит и пропадет без вести. По слухам, которые приводит в воспоминаниях Екатерина Половцова, якобы его видели в Данковском уезде Рязанской губернии. Он вел странническую жизнь, бродил босиком, с посохом в руках[127]. В том же 1861 году Александр стал посещать лекции в Московском университете, как вольнослушатель, но долго там не продержался: вместе с товарищами он участвовал в студенческой демонстрации, которая направилась к дому генерал-губернатора, чтобы потребовать улучшения внутреннего режима в университете. Марш был жестоко разогнан, многие манифестанты избиты и арестованы. Среди них был и Александр, которого затем исключили из вольнослушателей. После этого Саша, еще недавно уверявший брата, что его интересует только наука, бросается в политику. Он связывается с кружками сторонников политических и экономических реформ, сочиняет и рассылает прокламации...

Петр, напротив, пытается поддерживать внешне нормальные отношения с отцом, но в письмах к брату прорываются его истинные чувства. «Он очень постарел, верно не долго проживет, хотя такие существа подолгу живут»[128]. В разговорах с ним юный Кропоткин пытается защищать брата, но отец отмахивается.

Впрочем, общение с отцом дало Петру Алексеевичу возможность познакомиться с одной поистине легендарной личностью. В январе 1861 года Петр проводил рождественские каникулы в Никольском. В Калуге, где наш герой на балах спасался от скучной атмосферы отцовского дома, проживал легендарный Шамиль – полководец мятежных кавказских горцев, бывший глава Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. 25 августа 1859 года он сдался в плен русским войскам, с боя взявшим последний оплот сопротивления – аул Гуниб. Пленник пользовался уважением со стороны победителей и получил разрешение проживать со своей семьей в Калуге[129], под охраной русских офицеров. Вместе с отцом посетил его и молодой Петр Кропоткин. Будущий офицер с интересом слушал беседу двух бывших военачальников. «Он вел самый официальный разговор с отцом, расспросил отца подробно о Турецкой кампании 1828 года и т. д.»[130], – вспоминал Петр.

Свои дальнейшие планы Петр от отца пока скрывает. Заинтересовавшись математикой, юноша решил заняться естественными науками, но не ради чисто теоретических изысканий. «Но, конечно, я считаю себя способным предаться науке, и меня тянет возможность в будущем суметь прилагать свои знания к делу, посвятить себя сельскому хозяйству, промышленности... – сообщает он Александру в январе 1860 года. – Конечно, для этого я считаю необходимым первоначальное образование, и поступление в университет есть мое первое желание, впрочем, все это такие мечты...»[131] Брат попытался развеять его надежды стать образцовым помещиком-реформатором, напомнив, что для этого нет ни средств, ни возможностей. Он отговаривает его от университетского образования, считая его средневековым пережитком. Но Петр все еще надеется уговорить отца дать согласие на его поступление в университет. Потом ему в голову приходит мысль поступить в Артиллерийскую академию и одновременно посещать университетские лекции, после чего поступить на работу управляющим заводом. Саша счел, что это – «идеал недостижимый»[132], и посоветовал брату пойти после корпуса в Инженерную академию. Но изучаемые там предметы были Петру неинтересны. Впрочем, и в надеждах на Артиллерийскую академию он вскоре разочаровался. Ему хочется после выхода из корпуса

надеть штатскую одежду и жить «вольным гражданином», посещая университет. А еще его влечет на неосвоенный Дальний Восток, о котором ему когда-то писал Александр. «Уехать бы куда-нибудь отсюда, на Амур, что ли, если там хорошо и есть к чему приложить свои труды, а я чувствую достаточно сил, чтобы заняться и быть на что-нибудь полезным», – признается он брату[133]. Тот снова пытается его отговорить, но тяга к Сибири у Кропоткина становится все сильнее.

* * *

Что же так влекло Петра Кропоткина в незнакомые и почти неизведанные дальние края? Прежде всего, конечно же, то, что он не видел для себя никаких реальных возможностей осуществить свои планы и желания в столице империи. Университет оставался несбыточной мечтой, хотя профессор Классовский убеждал его поступать туда. «Поверьте мне, вы будете гордостью России», – уверял старик. Но Петр понимал, что отец не даст согласия на его поступление и денег на учебу, а принимать стипендию от главного начальника военно-учебных заведений великого князя Михаила Николаевича или кого-либо иного из членов царской семьи он не желал. В Артиллерийскую академию ему уже тоже окончательно расхотелось: там происходило ужесточение внутреннего режима.

А Сибирь... Там, как представлялось Кропоткину, могут открыться новые, совершенно неожиданные возможности. Описания красот Амурского края наполняли его душу романтическими ожиданиями. В нем просыпался будущий выдающийся географ. «Я читал об этом Миссисипи Дальнего Востока, о горах, прерываемых рекой, о субтропической растительности по Уссури; я восхищался рисунками, приложенными к уссурийскому путешествию Маака[134], и мысленно переносился дальше, к тропическому поясу, так чудно описанному Гумбольдтом[135], и к великим обобщениям Риттера[136], которым я так увлекался», – вспоминал Кропоткин позднее[137]. Ему хотелось «увидать новую природу, новые племена людей, пожить жизнью, близкой к природе, увидеть горные страны и такие великие реки, как Амур и Уссури, в области которых тропическая природа странным образом смешивается с полярной, – где лианы и дикий виноград вьются вокруг северной ели и где тибетский тигр встречается с якутским медведем»[138]. А там – быть может, и возможность отправиться через океан, в Америку...

Тяга к науке отличала его всю жизнь. Она сыграла свою роль в выборе, который предстояло сделать Петру Алексеевичу. Не меньшее место в его планах занимали и практические соображения. Наука, как и всегда, занимала его не сама по себе, а как средство для улучшения жизни людей. Ему казалось, что на новом, свежем месте, вдалеке от петербургской бюрократии и столичных интриг, можно будет осуществить и опробовать меры, способные в будущем изменить страну к лучшему. Иными словами, что «Сибирь – бесконечное поле для применения тех реформ, которые выработаны или задуманы. Там, вероятно, работников мало, и я легко найду широкое поприще для настоящей деятельности»[139], – мечталось Петру.



Дальний Восток и Сибирь рубежа 1850–1860-х годов действительно были не совсем обычной частью Российской империи. Вплоть до 1858–1860 годов на Амурский, Уссурийский и Приморский края претендовала правившая Китаем маньчжурская империя Да Цин. В зените своего могущества, в конце XVII века, она смогла успешно остановить дальнейшее проникновение Российского государства на юг и восток. В те времена российские цари безмерно рисковали, ввязываясь в борьбу с этим государством за берега Амура. Так, Ерофей Хабаров, получивший приказ ни много ни мало заставить маньчжурского императора-«богдоя» (богдыхана) «со всем своим родом и улусными людьми» оказаться «под Государевою Царевою и Великого Князя Алексея Михайловича всея Руси высокою рукою на веки неотступные в прямом холопстве», а в случае неповиновения – «смирять их ратным боем»[140], запросто мог со всем своим немногочисленным воинством да и со всем русским населением Сибири разделить судьбу героев романа Санчеса Пиньоля «Пандора в Конго». Те разбудили своей алчной охотой за бриллиантами неведомую подземную цивилизацию, воины которой их перебили, а затем уцелевшим пришлось спешно взрывать подземные ходы в мир Подземелья, пока вырвавшиеся оттуда армии не покончат со всей наземной цивилизацией... Наивному завоевателю-«землепроходцу» и охотнику за данью-ясаком просто повезло: маньчжурские Цины в этот момент были заняты покорением Китая. Как только они завершили эту длительную кампанию, положение изменилось, и дело закончилось падением ключевой русской крепости Албазин, военными поражениями и уходом русских с Амура на долгое время...

Серьезным и деятельным управлением этими отдаленными и малонаселенными землями пекинские императоры не занимались. Так и оставались обширные пространства под формальной властью Поднебесной, на которую никому и в голову не приходило посягать до тех пор, пока династия Да Цин была сильна и могущественна. Еще в самом конце XVIII столетия ее император мог презрительно и высокомерно отвечать британскому королю, что не нуждается в хитроумных поделках варваров: «Трепещи, повинуйтесь и не выказывайте небрежности!»[141] Но в условиях «опиумных войн», унижительных разгромов, нанесенных китайским армиям европейскими державами, и вспыхнувшего в Южном Китае восстания тайпинов положение изменилось. Цинское правительство предпочитало теперь договориться с Россией о разделе спорного Дальнего Востока. В 1858 году генерал-губернатор Восточной Сибири[142] Николай Николаевич Муравьев (1809–1881), рьяный сторонник российской экспансии на восток, вынудил маньчжурские власти подписать Айгунский договор, согласно которому граница между обеими империями проводилась по реке Амур. По Пекинскому договору 1860 года к России отходило также Приморье. В отличие от Да Цин, Российская империя принялась тут же интенсивно осваивать новые земли: начинается активное заселение территорий, в 1858 году основывается Хабаровск[143], а в 1860 году – Владивосток.

Администрация Восточной Сибири в те годы считалась, по российским меркам, либеральной, хотя сам Муравьев не без оснований слыл крайним деспотом. Здесь бытовали разные взгляды, подчас весьма неортодоксальные. Кое-кто в этих кругах уже вынашивал мысль о создании Сибирских Соединенных Штатов, которые могли бы в будущем избавиться от

давящей опеки Петербурга, как Северо-Американские Соединенные Штаты освободились из-под власти Лондона. Одним из людей, близких к Муравьеву, был Михаил Александрович Бакунин, называвший генерал-губернатора в одном из писем человеком необыкновенным «и умом, и энергиею, и сердцем», редким для России представителем типа «людей делающих», либеральным демократом, поборником децентрализации и «самостоятельного общинного самоуправления», врагом бюрократии[144]. По словам историка анархизма Макса Неттлау, будущий знаменитый анархист видел в своем начальнике «человека, предназначенного для этой цели» – создания «новой, богатой ресурсами славянской страны», «энергичного диктатора с широкими взглядами, который, подобно самому Бакунину, мечтал об освобождении крестьян, о славянской федерации, о войне... с целью освобождения славян»[145]. Опираясь на эту «сибирскую мечту» – какой бы наивной она ни была, – революционер надеялся в будущем вернуться в Европейскую Россию и поднять ее на бунт. Но в 1861 году Муравьев получил отставку с поста генерал-губернатора, и в июне того же года Бакунин выехал из Иркутска на Амур, а затем бежал за границу. Через несколько лет ему предстояло в Европе завершить эволюцию своих взглядов от славянского федерализма к космополитическому анархизму и возглавить антиавторитарное крыло Первого Интернационала. С Кропоткиным, который прибыл в столицу Восточной Сибири в сентябре 1862-го, они разминулись всего на год и пару месяцев. Двум виднейшим фигурам российского и мирового анархизма так и не суждено было свидеться. Ни тогда, ни после...

Но и в 1862 году, когда Кропоткин собирался после окончания Пажеского корпуса отправиться служить в далекую Сибирь, чтобы осуществить свои мечты о реформировании России и одновременно обрести независимость от удушливого контроля со стороны отца, Восточный край все еще слыл оплотом либерализма и при новом генерал-губернаторе Михаиле Семеновиче Корсакове (1826–1871)[146].

* * *

Весной 1862 года обучение Петра Кропоткина в Пажеском корпусе подошло к концу. Как выпускник, он имел право поступить по выбору в любой гвардейский полк или пойти в армию поручиком. Неожиданно для начальства и товарищей по учебе юноша попросился в Амурское конное казачье войско. Это военное формирование также было детищем Муравьева, который еще в 1849 году подал царю проект его формирования – для противостояния китайцам. Указ об образовании Амурского казачьего войска был подписан 8 декабря 1858 года.

Друзья принялись вышучивать экзотическую форму будущего казака: черный мундир с красным воротником, серые шаровары и собачья папаха. Но Кропоткин был непреклонен. Ему еще предстояло уговорить отца, а это было самым нелегким делом. Родитель прислал директору Пажеского корпуса, генерал-лейтенанту Сергею Петровичу Озерову, письмо, где заявлял, что категорически возражает против планов сына. Отговорить Петра пытались все, вплоть до огорченного его решением Классовского, директора корпуса Озерова и помощника начальника военно-учебных заведений Никиты Васильевича Корсакова. Но юноша стоял на своем. Надеясь смягчить отца, он ссылался ему на возможность сделать на Амуре блестящую карьеру. Но дело стопорилось.

